СКАЗКА О КНЯЗЕ ПЕТРЕ

И ФЕВРОНИИ-ЗНАХАРКЕ

Петр, князь Муромский, умирал. С сахарно-белым лицом, источенными в острое скулами – таял по капле, точно подожженная свеча, сукровицею и потом истекал в собольи меха княжьего ложа, сдавался, падал, рушился на колени – перед неведомой хворью, изгнать которую не в силах был ни один врачеватель.

Зеленый, как драконья чешуя, май перекрикивался за окнами громко-птичьими голосами, терпким запахом трав разливался по горнице, желтый, золотой, ослепительно синий… радужно-пестрые кольца плыли перед глазами, князь опускал веки, задерживая дыханье, точно перед прыжком в воду, и река принимала его, дарила покой и прохладу измученной язвами коже. Темные, как речной ил, стрекозино-легкие –
сны распускались бледно-розовыми кувшинками по воде, князю снова было десять, восемь, шесть лет, он шел с братом на реку – нарвать кувшинок для матери, и солнце пекло непокрытую голову, и речные русалки с девичье-нежными лицами смеялись ему из-под воды, манили в топь перламутрово-белыми пальцами, и едкий крапивий сок стекал с ножом обрубленных кувшиночных стеблей, и жутко чесалась ладонь… князь просыпался, успокоенно думая, что осталось уже немного.

– Не нашли лекаря в наших краях – пошлю отроков в соседние княжества, негоже вот этак, брат… – У Павла были драконьи глаза, холодные, мутно-зеленые изумруды, с змеиным шелестом вился по полу огненно-алый плащ, жег заревыми всполохами бревенчато-бурые стены – брат притворялся змеем, как змей некогда притворился братом, забрал его походку и голос, мужем вошел к жене его. У змея были ятаганно-острые когти, яд капал с клыков его желтой, пенною брагой, князь разрубил змея надвое – узкую, как мечевая рукоять, плосконосую морду, мерзко шевелящийся хвост – змей плакал ядом и кровью, ворочался у ног его, издыхая, точно недостреленный пес, и жесткие, как изумрудные грани, чешуинки царапали княжевы сапоги. Зуд делался все нестерпимее, словно пчелиный рой забрался под одежду, жалил и жег, изъязвляя плоть сотнями крохотных мечей, пчелы копошились в мертвых змеиных глазницах – желтым гноем истекающий клубок, гной проступал сквозь шелковую рубаху, мясисто-красными струпьями пчелиных укусов горели щеки и шея… Князь застонал, рывком раздирая на горле вышитый ворот. – Эк, как же тебя, меньшой, да что же все так…

Май плыл за окнами белооблачными стаями птиц, огненно-золотой, как сусальное золото, изумрудно-зеленый, пел у реки звонкой пастушечьей дудкой, темным звериным рыком отдавался из чащи. Май – спутанные тропинки на лугу, май – расставанья и встречи, надежды, мягким прядильным клубком утеснившиеся в груди…

…Где-то за сотни верст от Мурома, в земле Рязанской, оторвавшись на миг от ткацкого станка, дева с жемчужно-серыми глазами погрузила ладони в теплую заячью шерсть, бусинами роняя слова, шепнула: «Рано отчаиваешься, княже!» и сладко-медовыми сотами, дымом и древесною хвоей пахли узко-изящные руки ее, и кожа ее, пропитанная лесом и солнцем, была золотисто-медовой и чистой, точно холодная ключевая вода.

\* \* \*

…И глаза у нее были холодные, русальи, серые, точно озеро в пасмурную погоду. Тени прятались под водою, чешуйчатыми рыбьими боками расплескивая грязно-озерный ил, тяжелые, словно веревочные жгуты, водоросли колыхались на дне, русалка пела, белыми костяными гребнями расчесывая волосы-лен, и заячье-пугливые тени ласкались к рукам ее, путались под пальцами мягкой кудельною пряжей.

– Жениться обещаешь, князь? Тогда помогу! Ты только всерьез обе­щай, не насмешки ради, – тени таились под лавкой мохнатым шерстяным клубком, русалочье-чуткими пальцами дева тянула нити на ткацком станке, впрядая в полотнище юрких солнечных зайчиков, серое, белое, хрупко-золотое… Князь прижмурил глаза, спасаясь от ярко-режущих всполохов. Дочь бортника, рязанская крестьянка – сейчас это уже не имело никакого значения, мед под пальцами, мед под языком, медовое дыханье ее, изгоняющее злые хвори…

Баня дышала жаром раскаленных камней и майской, березовой свежестью – зверь, паром пышущий из ноздрей… Глотнув медвяно-желтого квасу, князь шагнул зверю в пасть, истекающую жаркой слюною. Пар валил с ног, изгладывал до костей, густыми комьями шерсти лез в ноздри и рот, зверь бился и рычал, скованный семью цепями, шершавым, жестким языком сдирал с кожи язвы и струпья, князь мазал раны медовой, пенящейся закваской, улечивая нестерпимый зуд. «А ту, что под сердцем, – не мажь, так оно вернее будет!» Яблочно-румяный, чистый, как свежевытканный холст, он вышел из бани, поддерживаемый слугами под обе руки, и сны, точно озерный омут, стянули его на дно, едва он добрался до постели. Белые, как облака, голубино-легкие, зарницами сияли за слюдяным окном, огненными перьями жар-птиц щекотали ладони и лоб, курлыкали по-журавлиному: «Май, просыпайся, вставай, жить – не маяться!», князь засмеялся, руками разгоняя крикливые птичьи стаи, и распахнул глаза – в медово-солнечное утро. Чистый, всеми хворями позабытый… забыть о медовых клятвах показалось вернее всего. «А ту, что под сердцем – не мажь…» Он чувствовал ее, всю обратную дорогу, точно недолеченную рану от стрелы, бередил, дотрагиваясь под рубахой, думал о русальих глазах и белом голубином пере, и хворь вернулась – привычной тягостной ломотою, кувшиночными бутонами язв расцвела из-под кожи, и он собрался обратно, так же, как и ушел, вслед за заячье-юрким клубком, красно-ржавыми нитями тянущимся из той, что под сердцем, невылеченной до конца…

…И все так же крутилось веретено, все так же пела, русалочьи чистым голосом, склонившись над прялкой, рязанская знахарка, все так же нежны, словно лен, были кудри ее, и руки ее пахли майской березой и медом. «Ты только всерьез обещай, не насмешки ради!» Сотнями острых брызг раскололась озерная гладь, тонкие, как пчелиные жала, осколки впивались под кожу, кусали и жгли, врастая в рубаху малиново-алыми лепестками; дева зачерпнула воды пригоршней, остужая, плеснула ему на грудь.

– Меня Февронией кличут. Не княжье имя, да и не ловка я в делах государственных… – Май рвался за окнами ранними громовыми раскатами, огненными крылами жар-птиц опаливал небесную кайму, зорево-красный, сусально-золотой, белый, как голубиное перо, – май рассыпался чистым колокольным звоном, над яблочнобокими куполами муромских церквей, над ясноозерными лугами земли Рязанской… Май, княжий месяц вступал в свои права, княгинею вел под руку льняноволосую деву с русалочьими омутами глаз.

\* \* \*

– Прогони ее, княже! Пусть забирает с собою все, что душе угодно –
парчи заморской, золота и серебра берет на откуп, сколько увезти сможет, только избавь нас от нее самой! Глазлива больно, да и не в меру горда – стыдятся жены наши сидеть с ней за одним столом, прислуживать дочери бортника, из рук ее, пачканных смолою, дары принимать. Не ровню ты взял себе, княже, – черную ворониху вместо белой лебедушки в терем привел!

Князю хотелось взять плеть и отстегать их, как дурных собак, черной, смоляною злобой исходящих, в песьемохнатых шапках, бархатношкурых кафтанах – бояр, кричащих на крыльце его паскудственно-гадкие речи, но белые ладони русалки накрыли его ладонь: «Пускай, глупые люди…» Распахнутыми пастями рыб зияли по углам горницы крепкобокие сундуки, зеленые, как водоросли, изумруды скреблись об их переполненные чрева, красно-жаркие рубины ракушками светились на дне, медово-золотым песком рассыпались монеты в бледных русалочьих пальцах…

– Снаряжайте ладью, друже! Раз Феврония вам княгинею не угодна, то и я – не угоден как князь. Вместе уйдем.

…Точно Китеж-град, Муром прятался, исчезал за кормой, в полуденно-голубом растворялись сахарные маковки церквей. Ладья шла по Оке, и дева, с русалье-бездонными глазами, пела, расчесывая волосы-лен, от голоса ее распускались цветы, деревья покрывались свежей, зеленой листвою, медовыми каплями текла из-под рук ее холодная речная вода. Июнь – ржаной, хрусткобокий каравай с солнцем пышущей печи – шел вслед беззаботному маю, теплые грибные дожди сеял сквозь решето туч, плыл по реке желтыми венками из одуванчиков, русалка радовалась, точно золотую корону, вплетая в кудри солнечно-медовые цветы, твердым, как речные камни, ножом разламывала каравай на дольки-дни – пятый, седьмой, одиннадцатый…

Они появились к исходу второй недели – змееголовые, драконоглазые струги, в пене тополиного пуха за кормою, острыми крыльями парусов взрезая холодно-синее небо, и горьким дымом пожарищ пахли их дубово-ржаные бока, и ржавыми потеками крови стелились по палубе солнечно-заревые лучи. «Так прогони ее, княже! Пусть забирает с собою все, что душе угодно… Вместе уйдем…» Июнь, жаром пропеченный каравай, вяз на губах колючими хлебными крошками, терпким квасным привкусом оставался на языке, ромашково-желтый, маково-огневой, тополино-белый… Давясь сухими корками слов, посланцы Мурома стояли в ряд перед князем, стыдливо комкали в пальцах песьешкурые шапки.

– Беда, княже. Точно псы оголодавшие грызутся промеж собою бояре, делят власть, да все поделить не могут… Усобицею и смутой полнится Муром-град, а хочет народ жизни прежней, спокойной. Возвращайся и ты, и княгиня твоя, княжествуйте над нами по-прежнему, слова вам поперек никто больше не скажет.

Белый, как ромашковые лепестки, июнь облетал по ветру, тяжелыми дождевыми каплями падал в солнцем выжженную траву, июнь-осторожник, июнь – пастуший месяц, колкий, точно соломенные снопы… Пастух своего непутевого стада, князь возвращался в Муром, и ветер пел свирелью за высокой кормой, и мягкие, словно лен, русалочьи кудри пахли холодно-дождевою водой и ромашково-желтым медом.

\* \* \*

…Улей брошен, воском запечатаны соты, и только привкус сладкого под языком – точно воспоминание о сахарно-медовых, пыльцою облетевших годах, белым речным жемчугом пропущенных сквозь пальцы. Двадцать, тридцать, сорок лет – безмятежно-медового счастья, шелковыми нитями шитого по льняному холсту...

Петр, князь Муромский, умирал. Таял, точно восковая свеча, уходил, угасал, черной свечной копотью оседали в подушку беспокойно-короткие сны. Князь закрывал глаза – и слышал русалочье пение, и сладко-медовые губы касались его щеки, и острая, как пчелиное жало, боль –
иголкой входила под сердце, взрывалась звонко-золотым и маково-красным, огнем опаливала до самой кости. Скатав под лавку змеиный, чешуйчато-зеленый хвост, русалка шила – перламутрово-синие облака, солнце – золотым яблоком на блюде, медовым отблеском в небе горели точеные маковки церквей. Рыжие, зарево-огневые, синие, как морские глубины – чугунно-каменной тяжестью сны тянули на дно, в гости к морскому царю с водорослевой, склизко-зеленою кожей, в короне из витых перламутровых раковин.

– Тш-ш… вместе уйдем, – русалка брала князя за руку, пергаментно-белыми пальцами, сморщенными, как пересохшийся воск, вела по ладони его, и синелицые, пузатые тритоны трубили в раковины, приветствуя княжескую чету, и царь смеялся, булькая пузырьками воздуха, бил перепончатыми лапами в жемчугом сияющий трон.

Угольно-черный, звонко-золотой, синий, как вечереющее небо, – июль забивался в волосы придорожною пылью, малиново-сладким привкусом прятался под языком, июль – время стоящих на перепутье, сердце, открытое всем ветрам…

Князь смежил веки, чувствуя, как распускается маково-красным, добела раскаленной кочергой ворочается под сердцем когтисто-острая боль.

– Так ты… со мною?

Русалка улыбнулась в ответ малиново-розовыми губами, точеным, как серп, ногтем провела под рубахой – и горница потонула в зеленом и марево-желтом, свет был повсюду – белый, опаляюще-жаркий, точно пламя бездонной драконовой пасти; русалка меняла кожу, сбрасывала чешую, тонкой, медоволосою девушкой в белоснежной рубахе, смеясь, тянула ладони к нему, князь сделал шаг – и дева приняла его в свои объятья.

\* \* \*

*…Их хоронили в один день, в тесном, как пчелиные соты, каменном склепе муромского церковного собора. Встревоженным ульем гудели колокола, рассыпчато-гулкий, медово-золотой – звон плыл над белокаменным Муромом, ветер нес к реке солнечно-огневую пыльцу, кувшинками с позолоченной сердцевиной качались на мелководье бледные русалочьи цветы, и нежными, как девичья кожа, были бархатные лепестки их, и тонкими, как лен, стебельками врастали крепко они в покатое речное дно.*